

Валерия Кухаренко

Записки о том, чего больше нет

Фрагменты воспоминаний

...Папа родился на Манежной улице, на Слободке (она называлась тогда Слободка-Романовка) 13 декабря 1890 г. и был наречен Андреем в честь Андрея Первозванного, то есть званого первым – первого ученика Иисуса, по апокрифическим сведениям дошедшего с проповедью христианства до Крыма, день которого отмечался 14 декабря. Моя бабушка рожала много, но выжило четверо: три девочки и один мальчик, и хотя он не был ни самым младшим, ни самым старшим, отношение к нему и к «девчонкам» было разное. Его, единственного в семье, послали в церковно-приходскую школу, четырехлетнее обучение в которой он благополучно завершил, и в 12 лет по множественным просьбам отца и дядьев, клятвенно обещавших «отблагодарить мастера как положено», был определен «подносить струмент» к местному слесарю-водопроводчику, который сам незадолго до этого события тоже «по протекции» вошел в элитарный состав водопроводчиков-котельщиков.

В начале XX века центральное отопление в Одессе при всех великосветских амбициях города («маленький Париж!», «черноморский Элизиум!») только входило в моду. Вот папа с младых ногтей и попал в эту перспективную отрасль. «Габёлок (мальчишка) я бил (был) шо надо, – скромно начинал он повествование о своей головокружительной карьере, – хватал все, и шо сказали, и шо тока (только) подумали... Та шо там говорить, в 17 лет у мене уже часы били с цепкой на всю праву грудь! Счастье? Еще какое!»

А дальше произошло просто нечто невероятное – подошел призывной возраст, он отправился на пункт и вытянул белый билет!* Это спасло его и от первой мировой.

Поднося струмент при оборудовании здания центральным отоплением, он освоил не только инвентарь и процесс работы, но и чертежи многоэтажной паутины труб и радиаторов, ведущей

* «Белый билет» – разговорное обозначение военного билета для тех, кто по разным причинам освобождался от военной службы. Обычные военные билеты были красного цвета.

к сердцу всей системы – огромному котлу. Венцом его профессиональных достижений стало приглашение остаться постоянным котельщиком-смотрителем только что завершенной системы «в доме Н. Шретера, по ул. Пушкинской, 33, с безоплатной квартирой там же». Обрато (в смысле «опять») везуха!

К этому времени папа был первый парень на Манежной улице, где вырос: он страшно гордился своими усами, шевелюрой и часами. Его сестер выдали замуж, отец умер, и шанс переехать в центр города, на Пушкинскую, да еще в «казенную», как он всегда ее называл, квартиру просто упал с неба. (Вот счастье!)

Квартира находилась в непосредственной близости от котельной, то есть в подвальном этаже. В ней было две комнаты: первая, в которую вела входная дверь, имела одно довольно большое окно (треть над землей, две трети выходило в полуметровой ширины нишу, регулярно обновляемую побелкой, что в солнечные дни очень помогало общему освещению), комната была узенькая и длинненькая, как пенал. Не исключено, что она задумывалась как прихожая. Но я ее застала уже в ранге комнаты. Вторая – «зала» – была о двух окнах и светлее первой, так как наш двор, как и пересекающие Пушкинскую Троицкая и Еврейская, «спускался» в направлении моря. Соответственно, части окон, выглядывавшие из глубоких ниш, были побольше. И, наконец, – сердце семейной жизни, кухня, тоже с одним (самым светлым) окном, с большой плитой, обеспечивающей все жизненно важные функции, приготовление всех видов пищи, отопление квартиры, нагревание воды для производства санитарно-гигиенических процедур, эмоционально-психологическое объединение разнонастроенных членов семьи в самом теплом, весьма ограниченном пространстве.

Вдоль спины этой удивительной квартиры (казенному коню, в конце концов, в зубы не смотрят) шел длинный коридор с кладовками, в которые загружали запасы угля для котла. В этот коридор умелец папа провел воду и поставил отлив – «Я вже тогда и не тока это сам мог», – небрежно-скромно сообщал он всем, еще не посвященным в его исключительные достоинства. Ну а то, что «все остальное» (а сколько там этого остального? – «ну, пару раз вискочил») помещалось в дворовом туалете, так и на Манежной, да и не только на Манежной, тоже! Так что, можно считать, квар-

тира! в центре! в новом доме! почти со всеми удобствами! до работы в буквальном смысле слова – рукой подать! Вот счастье!

...Успешно пробыв в статусе завидного жениха более пятнадцати лет, папа совсем расслабился и решил, что так свободно и необременительно можно жить всегда, и на этом самом месте вышла из строя динамо-машина, которая и обеспечивала завидную холостяцкую свободу, – слегла моя бабушка. Последствия были оглушительными: все родственники, знакомые, соседи, «все слесаря Одессы», люди давно и прочно окольцованные и с тоской наблюдавшие затянувшуюся легкость бытия моего папы, бросились ему на помощь. Но не варить-стирать-убирать и т. д. (см. выше), как он полагал, а (по-видимому, не без тайного злорадства) искать невесту!

Как известно, залог успеха любого коммерческого мероприятия – реклама, и брак по сватовству – не исключение. Конечно, в отличие от крупных коммерсантов (папа уважительно называл их по-заграничному, как в начале XIX в., «негоциантами»), репертуар рекламных средств здесь был значительно скромнее. Однако, учитывая открытость жизни одесских дворов (в прямом смысле – окна были открыты настежь круглосуточно) и исконное одесское стремление самоутвердиться хотя бы при помощи громкости звучащего голоса, вопросы купли/продажи, поисков/обнаружения нужного объекта решались в удивительно сжатые сроки. Да и бабушка не вздоравливала. «Что ты перебираешь?» – возмущались многочисленные доброхоты, выступавшие в роли продавцов. Папино сопротивление заметно теряло силу, он понял, что выхода нет. И согласился.

В прикотельную квартиру вошла Жена.

...Мама родилась и выросла в Николаеве. Главным человеком в доме Зленко была моя бабушка, управлявшаяся со своим постоянно увеличивающимся выводком детей и далеким от технологических «гаджетов» хозяйством. Дедушка с рассветом открывал чайную и работал «до последнего клиента». По легенде, мама, окончив 4 класса школы, готовилась к поступлению в гимназию, но поскользнулась на банном полу, упала, ударилась головой, и доктора запретили ей дальнейшее обучение. Будучи третьей по старшинству девочкой в семье, она стала главной помощницей своей мамы, но выходила и «в свет». Именно «в свете», на благотворительном

балу, она познакомилась с кадетом Сережей Хомяковым. Обоюдная любовь с первого взгляда так ярко осветила мамыны юно-девичьи годы, что с тех пор и до своего последнего дня в январе 1976 года мама делила все прожитое ею время на два неравных периода: «мирное время» и «все остальное». Как ни странно, первый из них включал и первую мировую, и половину гражданской войны. «Мирное время» закончилось с отплытием кадета Хомякова из Николаева с последними частями белой армии. «Он сказал: «Надюся (так все звали мою маму до ее замужества, когда она стала просто Надя), у меня каюта, поедем вместе». Но я сказала: «Я невенчанная, и ехать с тобой не могу». Эту историю мне, а потом и моим детям, мама рассказывала неоднократно. Она была очень горда своей высокой моральной планкой. Для того чтобы продемонстрировать, как хорош был кадет, как восхитительно было «мирное время», мама демонстрировала, как они танцевали мазурку – «все смотрели только на нас». Тут она становилась на одно колено, изображая «его» партию, потом вставала и делала элегантный полет вокруг стоящего на одном колене партнера. Поскольку эта сцена демонстрировалась сначала мне, а потом и моим детям, многократно, «мирное время», «кадет Сережа Хомяков» и «мазурка» слились в единый образ. Когда я выросла, я не сразу могла понять, как даже Великая Война, которая изменила не только жизнь мира, но и жизнь нашей скромной семьи, вошла просто как эпизод во «все остальное», после мирного времени, великой любви и великого отречения от нее.

В новой жизни, уже в Одессе, она, наверно, еще ожидала возможности испытать чувства юности, но замужество, хоть тоже «не венчанное», их не дало. А потрясение, испытанное тогда, в конце маминого «мирного времени», перекрыло все последующие. Весь свет погас тогда. И во всей оставшейся жизни светил один лучик – дочка.

...Я научилась читать! Вслух! С выражением! Мгновенно встал вопрос репертуара. Ни у одной из дворовых семей книг не было. У нас, правда, стоял оставленный владельцами дома при отъезде массивный книжный шкаф. Он был абсолютно пуст и занимал полкомнаты. Его дверцами служили две стеклянные панели, демонстрировавшие зияющую пустоту полок. Мама, с трепетом относившаяся

даже к слову «образование», не могла себя заставить занять полки постельным бельем, как советовали соседи. Наконец, она вышла из положения: выкрасила зеленкой два куска марли и прибила их мелкими гвоздиками изнутри шкафа к его дверцам. Шкаф сразу обрел необходимую солидность и таинственность – а какие книги вы держите в специальном дубовом красавце? Первая и единственная *собственная* книга попала туда только в 1938 году: работавший шофером на приисках сибирской реки Алдан мамин брат Петя приехал в Одессу в отпуск и, уезжая, спросил разрешения у моего папы взять мою маму с собой до Москвы, чтобы она увидела столицу. И он благородно отпустил маму на неделю. Вот оттуда мама привезла Петин подарок для меня – «Московское метро». Это была изумительная книжка, засмотренная до дыр всеми обитателями двора. Когда немцы в 1941-м подошли к Одессе, мама, несмотря на мои истерики, сожгла ее, как партийный документ (?!). Это при десятке икон, висевших с лампадами и расшитыми полотенцами в положенном углу!

Спас положение на книжном фронте задолго и до появления моей собственной книги, и до трагических событий ее уничтожения Раин папа – Яков Михайлович Владовский, главбух редакций обеих одесских газет – русского «Большевицкого знамени» (потом «Знамени коммунизма») и украинской «Чорноморської комунни». Обе они жили вместе, напротив нашего дома, на Пушкинской, 32. Яков Михайлович был абсолютно крошечным человеком, которого не только обожал, но и уважал весь двор – за неизменную приветливость, внимательность к взрослым и детям и, конечно, за портфель. Через много-много лет знаменитым станет другой одесский портфель – старенький, тощий, с несколькими листками, которые заставляли смеяться (над собой же!) всю страну, – портфель Михаила Михайловича Жванецкого.

В портфеле Якова Михайловича не было ничего смешного, он был тоже старый, но очень толстый, и двор тайно подозревал, что это было вместилище не столько разных бумаг – без них как же? – сколько зарплаты для всех работников редакций и типографии. Портфель Якова Михайловича до сих пор жив в моей голове как символ ставших много позже понятными мне слов, которыми он ловко орудовал в беседах с восхищенными соседями – аванс, кредит, годовой отчет (очень страшно)...

Яков Михайлович был не только владельцем узнаваемого портфеля, отцом и мужем, он еще был официальным членом (с карточкой!) редакционной библиотеки.

Поскольку жизнь детей двора с мая по сентябрь проходила во дворе, Яков Михайлович заметил, что растрепанная книга с картинками уже не удовлетворяет интеллектуальные потребности отдыхающих от «казаков-разбойников», «дома», «гостей», скакалки, «мяч об стенку и об землю» и прочих популярных занятий, и однажды взяв Раю и меня (как ее лучшую подругу) в свою библиотеку.

Сегодня подавляющее большинство людей разного возраста, если они вообще читают, предпочтение отдают электронным носителям: «скачал» двадцать романов в очередной, как мы говорим, «гаджет» – и читай себе на здоровье.

А я до сих пор – бумажный читатель. Я до сих пор (почти 80 лет спустя) вижу солнечный луч, в котором видна книжная пыль, и носом ощущаю, как она пахнет – книга и ее пыль, и их собрание на полках в библиотеке, и возможность с замиранием сердца идти по узкому проходу между полками и читать корешки, и тихо-осторожно дотрагиваться до них пальцами (я же не официальный член с карточкой). А потом с разрешения библиотекаря сесть на скамеечку – на нее становились, чтобы достать нужное с верхних полок, – и читать... Все довоенные летние месяцы я провела в книжной эйфории на скамеечке в библиотеке. Кроме двух, самых ранних.

...Н.А. Шретер построил свой внушительный дом буквой П. Перекладина буквы была фасадом и выходила на Пушкинскую. К концам ножек буквы несколько позже прилепили еще одно П кургузенькое, в два невысоких этажа, с непомерно разросшейся перекладной и короткими ножками. В перекладине были (и остались в советское время) конторские помещения. В одной ножке была скрипучая, с облезлой краской, деревянная лестница. Эта ножка была жилой. В противоположном флигеле был пионерский форпост, рядом с которым помешалась дворовая уборная. Форпост был обычно закрыт на замок, его открывали «для общественных мероприятий», то есть для собраний жильцов дома, которые дружно голосовали за предложенные резолюции.

Из-за несоответствия высоты двух зданий и диспропорции между перемышками и ногами каждого у нас получалось вроде бы два двора, перетекающих друг в друга. Их условной границей служила пожарная лестница – многофункциональный объект, мерило героизма, независимости и атлетизма всех мелких обитателей двора. От Пушкинской до лестницы был «наш двор», от лестницы до конторы «тот двор». Обозначения не отмечали своих/чужих (все были свои), но служили адресом: фраза «Я буду на том дворе» означала, что мама должна меня звать домой особенно громко и настойчиво.

«На том дворе» проходили основные массовые игры – благодаря малоэтажности стен и длине «перемышки» он был светлее и шире «нашего двора». Кроме того, перемышка и одно крыло не были заселены, значит, окна были закрыты, и наши вопли привлекали меньше внимания, чем на «нашем дворе», где сосредоточились основные мамы, бдительно следившие за своими отпрысками.

Днем двор принадлежал детям. Вечером «подышать» выходили взрослые, со своими табуретками и скамеечками. В основном это были женщины, натоптавшиеся за день и счастливые самой возможностью присесть. А тут еще и поговорить можно. Неизменных тем было три: Привоз и фантастические способности *каждой* ораторши найти самый дешевый и при этом самый качественный продукт. Его наименование зависело от месяца купли-беседы, ибо все, что произрастало в округе и было представлено на Привозе, имело сезонный характер. Слова «оранжерея» и «теплица» мы знали из надписей под картинками; «холодильник» был так же неизвестен, как космический объект; «супермаркет» еще не засиял даже над просвещенным Западом. Летом на Привоз ходили каждый день, зимой – два-три раза в неделю, так как осенью все «закупались». Существовала нигде не зафиксированная, но обязательная к исполнению «закупочная инструкция хозяйки на зиму»: мешок картошки, полпуда лука, полпуда сливочного масла (перетопить, слить в банки, «фузы» использовать для выпечки к ближайшим именинам). Если была холодная кладовка, как у нас, закупалась и морковка, которую пересыпали песком и хранили в ящике. Все без исключения солили капусту, многие (не мы) – огурцы и помидоры. Все без исключения варили варенья (из отборной ягоды), джемы (из ягоды второго сорта) и повидло

(из всего, что попадало под руку). И все это по своим рецептам, с результатами, превосходящими полет самой необузданной фантазии. Именно с этими достижениями выходила каждая героиня на форум. Доказательством успеха служило публичное опробование продукта. Если это было нечто не твердой консистенции (варенье, маринад, сое), и нужен был инструмент (ложка, вилка) для снятия пробы, хозяйка жертвовала полотенцем и после каждой пробовальщицы вытирала ложечку, несмотря на протестующий хор: «Ну что вы, не надо пачкать полотенце, мы же все как свои родные, мы же не заразные».

Если после пробы каждая хозяйка выясняла, что у нее самой не хуже, а может, и лучше, панегирики в адрес угощавшей возрастали с новой силой. Их вершиной обычно была просьба «дать подробный-подробный рецепт». Если мы кружились где-нибудь поблизости, нас призывали к участию в действе: «Запоминай. Тебе тоже пригодится».

Обсудив в деталях качество, количество и цены закупаемых продуктов (тема № 1), затем их обработку/переработку и финальный результат (тема № 2), если еще не все задремывали, самые стойкие переходили к теме № 3 – разное. Здесь обсуждали хозяйственные дела, обслуживающие не желудочно-кишечный тракт, а другие составляющие человеческих организмов, материализованных в муже, ребенке (в нашем доме жили всего две семьи, где было по двое детей, и их мамы редко принимали участие в летних посиделках), родственниках (родители, сестры-братья-племянники), тесно прижатых друг к другу на своем незначительном жизненном пространстве. Всем этим женщинам было по 30-35 лет. Расцвет, скажем мы сегодня. Закат, считали они, поставленные на круглосуточный конвейер домашней работы, которая и работой-то не считалась: мы с мамой назывались «иждивенцы».

Иногда, обычно в воскресенье, выходили «постучать»* (костяшками домино) мужчины. Пива «Оболонь» тогда еще, слава Богу, не было, но футбол – какой-никакой – был, так что тема № 1 рождалась естественно и всеохватно – футбол, ну, на худой конец, домино и шашки. Поскольку гастрономические проблемы мужчины не обсуждали, они сразу переходили к теме № 3, разное. Вот где действительно было разное! Если дамскую группу объединяла общая форма занятости – все

* Не путать с «настучать» (донести на кого-то)! «Постучать» – слово уважительное и компанейское. «Настучать», наоборот, слово ненавистное и страшное.

сидели (!!!) дома («она у меня не работает, дома сидит», – невзначай бросал коллегам гордый Добытчик), то среди мужчин были и «слесаря», и «токаря», и портовики, и даже фрезеровщики. У каждого из них была масса историй («баек»), связанных с особой опасностью (риском, умением, смышленостью и пр.) именно *его* занятия, и он охотно рассказывал, что приключилось с ним (его товарищем, дядей, племянником) в определенном известном всем месте в определенный час, обязательно называемый для достоверности повествования – («8-го – помните, еще дождь шел»). Своими захватывающими приключениями выделялся один член компании – гульливый портовый грузчик (сейчас эта должность, обремененная современной технологией, называется «докер»), который многократно оказывался свидетелем леденящих душу происшествий («ну, знаете, под мостом, сразу за ступеньками», или «ну, прямо рядом с Дюком»). Потрясенные, мы на следующий день бегали на место жуткого преступления и страшали друга друга возможностью повторений. Прошел почти десяток лет, прежде чем я прочитала об этих и многих других детективных подвигах у Конан Дойля, которого наш рассказчик – к чести своей – не только прочитал и запомнил, но и «передал товарищам».

Помимо частных историй в мужские разговоры попадали и глобальные проблемы. Нет, нет, никак не политика! Какая политика! Конечно, в Одессе выходили газеты (Раин папа – главный пример), было радио – огромный конус громкоговорителя, укрепленный на столбе на углу тихой Пушкинской и совсем патриархальной Троицкой. Так что с политикой был полный порядок – что ее обсуждать? Вот напор воды летом – совсем другое дело. Это касается всех! Вообще, что творится с водой? Хорошо водопроводчикам – устроились себе в подвалах (намек повисает в воздухе, потому что моего папы на форуме нет, а мама далеко, она не слышит, ибо увлечена обсуждением наилучшего, вообще-то, если честно, то, как она абсолютно убеждена, единственного способа *настоящего* приготовления «этой странной, с моей точки зрения, рыбы с огромным количеством несъедобных плавников, да к тому же еще и покрытой шипами». Конечно, папа ее «уважает» в мамином исполнении, а ему не так легко угодить – уж мама-то знает! Вот она и нахваливает свою «камбалу в шпинате») – это специально: они, водопроводчики, знали, что в подвал вода и самотеком дойдет, без всякого напора. А на четвертый этаж? Да что там четвертый! Они

всю жизнь ведрами воду таскают! Ты возьми второй – второй! На втором только ночью цявочка (одесское презрительное обозначение водяной ниточки) с крана идет! Еще хорошо, что у некоторых ванны пооставались – наберут за ночь, а днем вся квартира (имеется в виду коммуна в три-пять семей) спасается.

Водопроводная тема была неисчерпаемой, в нее естественно вплелись импровизации и вариации – менялись этажи, на которых вода только капала, а не шла, менялось время суток, когда ее можно было подкараулить, количество и объем сосудов, впрок заполняемых экономно расходуемой влагой: на питье и еду – сколько надо. На помывку – по скромной пролетарской потребности. В мои детские времена «ванна» и «ванная» были абсолютными синонимами и обозначали большую белую емкость для хранения воды. То, что в барские времена служило ванной (комнатой), использовалось разными конгломератами коммунальных соседей как кладовки, кухни, а иногда (если в ванной изначально было окошко), то и как жилая комната для нового жильца. Так что купаться захотел – на море или в баню, нечего воду портить и сырость разводить*.

Неисчерпаемой темой было и обсуждение «этого фраера», то есть начальника или официальное лицо любого ранга. Между мужской и женской группами была большая разница: среди женщин все были

* Ревнивое и прижимистое отношение одесситов к драгоценной влаге, которой, как назло, требовалось больше именно летом, когда напор спадал, и даже «цявочка» была в радость, имело массу последствий: тотальную слежку друг за другом в коммунах и установление нормы «ведер из ванны на душу», движение за экономный способ использования посуды (в глубокую тарелку сначала наливалось первое, его съедали до последней капли, тарелку вытирали хлебом, после чего в нее клали второе) и ее мытья (мокрой тряпкой «проходили» по той поверхности, которая была в «едовом» употреблении. Та сторона тарелки, которая соприкасалась со столом, а не с борщом/кашей/котлетой/рыбой, считалась чистой, то есть аргіогі не требовала излишней водной процедуры). Телесных омовений, которые имели сложную и разветвленную классификацию: базовое – мытье в бане/дома; далее: дома – «с головой» (для женщин) / «без головы»; дальнейшая детализация: «без головы» – под маленькое декольте (лицо) / под большое декольте (включая шею). Рубрика с декольте настолько вошла в речевой обиход моей мамы, которая в этих терминах жестко критиковала грязнух (или проще, «засранок, которые губы мажут, а подмышками воняют») и много десятилетий спустя, что «под маленькое/большое декольте» дошло и до моих детей, по-моему, до того, как они узнали значение слова «декольте». Просто первое означало «грязно», второе – «чисто».

ораторы, все нетерпеливо ждали возможности наконец вставить и свое слово. У мужчин, наоборот, были постоянные ораторы и постоянные слушатели. Дети лепились, в основном, поближе к мамам, но нередко мигрировали, сравнивая «по интересу» обе группы. Первыми расходились мужчины. Знаком окончания был зевок одного из ораторов. Не во время своей байки, Боже упаси, она же самая интересная, а вот Петя, Вася, Коля... можно и зевнуть, показывая, что завтра – рабочий день, и вставать надо рано.

При заселении нашего двора я, естественно, не присутствовала. Многие жильцы моего поколения родились уже в этом доме, но родители их въехали сюда после отъезда шретеровских жильцов, когда «подвалы переселялись в барское жильё».

Известный одесский краевед М.С. Пойзнер, с моей точки зрения, очень точно определил потомственного одессита: «Природные одесситы – это все-таки штучный товар. Товар без государственных границ и без сроков годности». Он сказал это об одесситах, в 1970-1980-х годах разъехавшихся по миру и организовавших «Всемирный клуб одесситов». Однако потомственные, «природные» одесситы, конечно, заявили о себе в устной и письменной речи с начала XX-го века.

Мой папа был «природным», потомственным одесситом. Его прапрадед сбежал в Хаджибей на вольную жизнь. Его прапрадеда сын построился на Слободке-Романовке, на Манежной улице. Здесь родились все последующие Кухаренки. Таким образом, в нашем дворе жили трое настоящих одесситов – папа и его две сестры. Остальные были пришлые – из еврейских штеттлов, из молдавских и украинских деревень и двое из Центра (!), присланные «наладить жизнь» в этом странном городе. Оба присланные и Яков Михайлович ходили с портфелями, с той разницей, что у Якова Михайловича портфель был толстый и старый, а у центристов – тощие и новенькие. К ним относились снисходительно – ну, прислали, они тоже люди подневольные – вон, даже говорить по-человечески не умеют. «Говорить по-человечески» это говорить на чудовищной смеси всего того, что привезли с собой «новые одесситы», с их шипящими и свистящими, с их вопросительной интонацией в конце утвердительного предложения, с их неизбывной языковой креативностью. Об «одесском языке» (с примерами) написана не одна книга, и я не скажу ничего нового, процитировав жильцов моего первого (Пушкинская, 33) и второго (Троицкая, 19) дворов. Я цитирую их не

потому, что мне хочется увеличить «Словарь одесского языка», а потому, что за этими словами и выражениями стоят живые для меня люди, уникальность речи которых оказалась характеристикой, по которой они навсегда остались в моей памяти. Увы, то, что было в первом дворе (даже папа, самый природный одессит из всех когда-либо известных мне), почти не отложилось в памяти, потому что тогда, в 1930-х, примерно так говорили все. *Все*, выражая заботу о ком-то, говорили «Я все время думала за тебя. Я так переживала за тебя!». Мы все «скучали (скучили) за кем-то», мы «не боялись за себя, мы боялись за него», мы доброжелательно предлагали: «Вам помочь?», мы говорили: «Я блукала-блукала, так и не нашла», «Он – совисный (=совестливый) человек» и «обицянки-цяцянки, а дурному радость», смешивая украинский и русский в то, что еще не называлось презрительным «суржиком»; у нас никогда ничего не мерзло, потому что мы «замерзаем во что-то: в руки, в ноги»; мы говорили о чем-нибудь экстраординарном: «Ой, можно было двинуться (тронуться) мозгами», а о походе на Привоз – «сделать базар». Фраза «Я вас умоляю» совсем не означала высшей степени униженной просьбы, но выражала скептическое недоверие к словам собеседника. Так, например, в коротком диалоге: «Он обязательно придет (скажет, принесет...)» – «Ой, я тебя умоляю!» – ответная реплика означала «Никогда он этого не сделает».

Моя мама пришла в квартиру и двор на Пушкинской, 33, в январе 1927-го, когда Шретеров давно уже не было, когда все квартиры были коммунальными, когда «парадный» и «черный» ход барских квартир обрели абсолютное равноправие, так как часть жильцов в комнатах, близких к одной из лестниц – то ли мраморной, то ли железной, ею и пользовалась, радуясь крыше над головой в самой Одессе!

Поспешные отъезды начала двадцатых годов и столь же поспешное поселение людей новых изменили и социальный облик, и «дух» Одессы, и, конечно, ее язык. Исчезли французский и итальянский, очень скромное место занял греческий, увеличился идиш, но главное – язык начал зависеть от возраста говорящего. Дети новых одесситов пошли в школу, которая успешно нивелировала язык города. Носителями «старого, коренного, неповторимого одесского» остались пожилые и старые люди, которых школа не коснулась. Вот их, послевоенных, я помню хорошо. Но это был уже мой второй двор, отстоявший от первого всего на один квартал.